

18+

Наталья Червяковская

Иллюзия обмана: я всё ещё тону в своей вине

Современная проза и поэзия



Наталья Червяковская
Иллюзия обмана: я всё
ещё тону в своей вине.
Современная проза и поэзия

<https://litres.ru/74249564>

ISBN 9785007051262

Аннотация

Книга «Иллюзия обмана: я всё ещё тону в своей вине» — это повесть, сотканная из дневников откровений прекрасной женщины по имени Елизавета. Это исповедь о трагической судьбе её бабушки Эмилии, о надломленных отношениях с матерью и о всепоглощающей любви к собственным дочерям. В этом повествовании — история семьи, история трёх поколений женщин, где мудрость главной героини сумела распутать горделивый узел, связавший сердца матерей и дочерей. Нет ни иллюзий, ни вины — лишь материнская любовь.

Содержание

Иллюзия обмана: я всё ещё тону в своей вине	5
Неожиданная встреча	21
Дневник	33
Конец ознакомительного фрагмента.	42

**Иллюзия обмана: я всё
ещё тону в своей вине
Современная
проза и поэзия**

Наталья Червяковская

© Наталья Червяковская, 2026

ISBN 978-5-0070-5126-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Иллюзия обмана: я всё ещё тону в своей вине

*С трепетом душевным посвящаю эту книгу
любимой моей подруге Елизавете Петровне — Лизе
— и её прекрасным дочерям, Дженнифер и Лауре
Софии.*

Хочу о женщине прекрасной рассказать,
Где соль минор и морок океана.
Ей суждено туман судьбой назвать,
Поднявшись гордо из глубин обмана.
Она идёт по кромке, затаясь,
Где пена стёрла древние причалы,
В её глазах — невидимая связь
И горечи, и светлого начала.

Ей снится сон: изысканно и строго
Шуршит походка платьем по камням,
И шоколадных локонов дорога
Бежит к её семейным берегам.
То отзвук песни девственно-старинной,
Что трубадур сложил в былые дни,
Мелодией французской, тонкой, длинной,
Из глубины веков зажглись огни.

Там бабушка молитвой греет стены,
И серые коты покой хранят,
А в сердце — море, осень за порогом,
И дочерей глаза на мир глядят.
Две жизни — как течение разных песен,
Семнадцать лет и девять малых зим.
Их мир велик и бесконечно тесен,
Священной памятью веков храним.

Французский флёр и русских песен нить,
Шуршанье платья по морским камням.
Она посмела этот мир любить,
Бежит дорога к светлым берегам.
Где чай с акацией и молоком тягучим,
Где голос Сенчиной летит в осенний сад,
Она идёт аккордом самым лучшим,
И нет пути потерянно назад.

История начнётся непременно,
И в ней пребудет неизменно он —
Избранник тот, чья верность сокровенна,
Кто в мир её навеки приглашён.
Он чуть моложе, но в руках — опора
Для дома и для прекрасных дочерей,
Сильнее бурь и всякого разора,

Причал её мятущихся путей.

Там чёрный чай с янтарным молоком,
Листва ложится рыжею лисицей,
И входит счастье в их уютный дом
Новой истории нетронутой страницей.
Он дарит ей хмельные ночи эти,
Её плеча целует облака,
Считая родинки, как звёзды в лунном свете,
Пока нежна его и преданна рука.

А серый кот уходит в дымку ночи,
Не смея хрупкий ритм души нарушить,
И голос сердца тише и короче
Струится в мир, чтоб согреть и слушать.
Взаимная любовь — как вечный зов,
Простая правда в море цвета петроль.
Она ведёт сквозь тишину веков
Из шёпота и морока тумана.

Иногда жизнь не дарит нам историй — она посылает нам сны. Сны, где прошлое переплетается с настоящим, как две тончайшие нити, сходящиеся в единый нерв — трепетный, живой, нервующийся. Они являются не случайными видениями, а голосами крови; древним эхом, отозвавшимся из глубины веков: ты не одинок в своём пути. Бытие наше — лишь

иллюзия, и в ней сквозит смутная вина за то, что человек всего лишь хотел быть любимым и счастливым. Но и в этом миражном мареве таится невыразимая красота — мгновения, осколки соприкосновения с душами, принадлежащими одновременно нашему прошлому и нашему настоящему.

Разумеется, это не подлинная история. Автор не посмел бы.

Это — повесть о человеке редкой и прекрасной души. О встрече, что стала не просто перекрестьем двух судеб, но слиянием целых вселенных: утончённого французского шарма, отсылающего к детству, немецкой педантичной ясности и той меланхоличной нити, что вплетена в русские напевы.

Всё начинается с музыки — старинной, французской, теряющейся в сумраке минувших веков. Со «Старинной французской песенки» из «Детского альбома» П. И. Чайковского. Говорят, композитор обратил в ноты напев трубадуров XVI столетия, тот самый, что вопрошал: «Куда вы ушли, увлечения моей юности...». В ту пору нотной грамоты ещё не ведали, и песня ожила лишь в XVIII веке, запечатлённая французским композитором Векерленом. Чайковский отыскал её в его сборнике. Простая, двухчастная, в тональности соль минор — она звучит как эхо утраченного времени, как голос

той, чья фамилия — Мастэль.

Из этого эха рождается образ — женщина, названная Елизаветой, с прекрасными дочерьми, Дженнифер и Лаурой Софией, и судьбой, начавшейся «так, как того требовала её причудливая, морская участь». Передо мной уже не та задир-девчонка с глазами, словно горящие угольки, с курчавыми непокорными волосами. Передо мной — женщина. У неё две дочери и своя история. Готова ли она приоткрыть завесу той жизни, что осталась сокрытой от посторонних глаз? Едва ли кто знает.

История началась так, как того желала её причудливая, морская душа — с той пронзительной тишины, что стелется по воде, когда буря, отбушевав, затаила дыхание. В жизнь женщины он вошёл незримо и неотвратно, как вечерний прилив, — человек, предназначенный самой судьбой. Его преданность была безмолвной и бездонной, как океанская пучина. Он явился не вихрем, а вечным затишьем, когда воздух кристален, а каждый звук обретает первозданную, почти болезненную ясность.

Немного младше, он стал опорой, о которой она не смела и мечтать: для семейного очага, для её лучезарных дочерей, для её трепетной души, жаждавшей надёжной гавани.

Сила его проявлялась не в громких словах, а в умении стойко встречать любые невзгоды — с несокрушимой твёрдостью утёса и тишиной, исполненной незримой заботы. Он стал её верным берегом, тихим причалом, о который разбились все житейские бури, заслонив её хрупкий мир спокойной, абсолютной уверенностью.

Le vent murmure au bord de l'horizon lointain,
Ein goldener Schein erwacht im tiefen Wald.
В рассветный час, за нитью тайных тайн,
Die Liebe kommt, sie nimmt uns bald.

C'est une belle histoire, un éclat d'infini,
Ein leises Flüstern, das die Nacht zerbricht.
В её глазах — мерцание вселенной,
L'espoir s'élève comme une douce lumière.

Il lui offrait des sourires, le feu des jours,
Und jeder Blick war wie ein Sonnenstrahl.
Он ей шептал о вечности, о свете,
Ein Traumschloss steht in diesem Nebeltal.

Des roses tendres pour un bal idéal,
Zarte Symbole, blühend in der Hand.
Дрожали лепестки любви невинной,

L«écho d'un cœur vers un nouveau destin.

Ein Kuss, so sanft wie fallender Kristalle,
Il court le long des chemins de l'oubli.
В её душе — аккорды старой песни,
Und es geschah mit ihnen — c'est la vie.

Сплетались звуки трёх наречий странных,
Drei Sprachen fließen wie ein tiefer Fluss.
История любви в строках печальных,
Un lien éternel né d'un seul baiser.

Zarte Rosen blühen tief im Herzen hier,
Le ciel reflète un amour sans partage.
Она — его любила, он ей принадлежит всецело,
Elle est à lui, und er gehört nur ihr.

Можно ли перевести настоящую любовь на какой-либо язык мира? Нет, конечно. Теоретически — возможно, но на деле — совершенно не нужно. Любовь не терпит оков слов: она читается душой, живёт трепетом в сердце, говорит безмолвным языком глаз, дышит в каждом поступке и обретает плоть в делах. Её главный глагол — отдавать.

На грани мира, где пылает небосвод,

Встаёт рассвет из изумрудной чащи.
Там золотистый свет в густых ветвях живёт,
И шёпот ветра — призрачный, манящий.

Сквозь нити тайн, скрывающих причал,
Любовь идёт в сиянии безбрежном.
То вспышка вечности, начало всех начал,
Что ночь разбила шёпотом надёжным.

В её глазах — галактик древний пульс,
В его очах — огонь и щедрость лета.
Он знал желаний сокровенный вкус,
Даря ей замки из извивов света.

Он ей шептал про вечный путь светил,
Слагая дни в немыслимые саги.
И каждый взгляд огнём в крови чертил
Узоры счастья на немой бумаге.

Дрожали розы в трепетной руке,
Цвели для бала символом невинным.
Сердец созвучье в каждом лепестке
Влекло к судьбе дорогам длинным.

Как хрупкий иней, выпавший в тиши,
Был поцелуй — забвенья грань святая.
Запели струны в глубине души,
Старинный лад невольно обретая.

Сплелись наречья трёх далёких стран,
Как три реки в едином бурном токе,
Чтоб смыть печали пройденных дорог
И превратить в божественные строки.

Небес лазурь восторженно нема,
В сердцах горят бутоны роз рассветных.
Она — его, он — только ей сполна,
В плену любви — святой и беззаветной.

Их дом обрёл новое, глубокое тепло — словно вздохнул полной грудью после долгого, томительного замирания. В нём всё так же наливали крепкий чай с золотистым топлёным молоком, с ложечкой липового мёда, где тонко, едва уловимо, сквозили ноты акации. За окном осенняя листва стелилась по земле, как рыжая лисья шубка, мягкая и пламенеющая — сама осень легла у порога.

Однажды вечером, сидя на старой скамейке в саду, он спросил тихо, почти сливаясь с шелестом листьев:

— Лиза, а ты помнишь тот первый день, когда мы просто молчали? Не оттого, что не находили слов, а потому что их было слишком много, и все — не те.

Она прижалась к его плечу, следя за полётом запоздалой бабочки.

— Помню. Они плавились где-то здесь, — она легонько коснулась его ладони, — горячие и сильные. А потом ты взял мою руку, и все пальцы улеглись, как песок в стеклянных часах. И начался отсчёт нашего времени.

Он часто говорил с ней в темноте, когда очертания комнаты растворялись и оставались только голоса.

— Знаешь, что я ищу, когда не сплю? — его шёпот струился по её волосам. — Не твоё дыхание, нет. Я слушаю паузу между вдохом и выдохом. Ту самую, где нет ни прошлого, ни завтра. Только настоящее. И оно целиком наше.

— Оно пугает, — призналась она, поворачиваясь к нему. — Эта тишина. Словно стоишь на краю всего.

— Это не край, — поправил он, касаясь её ресниц. — Это центр. Отсюда начинаются все наши миры.

Однажды, когда осенний дождь стучал в окно, она, глядя на бегущие струи, проговорила задумчиво:

— Иногда мне кажется, что мы не пишем ту самую страницу. Мы — буквы на ней. Кто-то другой ведёт перо.

Юрий обнял её за плечи, следя за её взглядом.

— Пусть ведёт. Но посмотри: буквы-то сплетаются в одно слово. Его не разделить. «Мы». Оно уже не сотрётся.

В ночи, убаюкивая её внезапную тревогу, он водил пальцами по её запястью, будто находил невидимые струны.

— Здесь бьётся твоё море, — говорил он. — Слышишь? Прилив и отлив. Оно никогда не бывает абсолютно спокойным. И не нужно. Я люблю его и в штиль, и в бурю. Потому что это — твоё.

— А ты не боишься утонуть? — чуть слышно спросила она.

— Я уже утонул, — улыбка звучала в его голосе. — И обнаружил, что на дне — воздух. Твой взгляд. Это и есть глубина бездонного колодца, ставшего небесами.

И однажды утром, когда солнце разлилось по полу горячим мёдом, Елизавета, заваривая чай, сказала просто:

— Кажется, счастье — это не страница. Это переплёт. То, что держит все листы вместе, даже когда они мнутся и желтеют.

Юрий взял чашку из её рук, и их пальцы встретились на тёплом фарфоре.

— Значит, мы с тобой — переплёт. — Он встретился с ней взглядом. — Красивый, прочный, с позолотой по краям. И самая важная история ещё впереди. Она пишется не за нас. Она дышит где-то между «он» и «она». В этом промежутке и живёт всё, что мы называем «нами».

Серые коты, древние стражи домашнего уюта, словно осознали, что происходит между влюблёнными хозяевами, и просто уходили. Они всё чаще растворялись в вечерней дымке, не решаясь внести свои тени в новый, хрупкий лад душевной жизни хозяйки. Голос её сердца становился тише, сдержаннее, но от этого лишь набирал внутреннюю мощь — как ручей, уходящий под землю, чтобы стать там источником. Теперь он лился в мир не исступлённым порывом, а ровным и тёплым потоком, несшим утешение, тепло и просто присутствие.

А ещё ей снится сон. Он является вновь и вновь, как тот самый мотив из «Echos du temps passe»: длинные волосы цвета тёмного шоколада, распущенные волны; глаза — словно спелая вишня или густой кофе перед рассветом. И она мечёт полом своего платья пустую улицу, где время остановилось.

Сны нам даются неспроста. Это голос родовой памяти. Один человек... а ещё — история, что вот-вот явится миру.

В реальности — женщина с короткой стрижкой и музыкой в сердце. Музыке её сада, где сплетаются в душистом танце кусты сирени, гортензии, ромашки и орхидей. Какая противоречивая палитра, какой цветовой диссонанс — и всё же гармония.

Она любила цвет петроль,
Была скромна и нелюдима,
Но в сердце хранила тёплый свет.
Любила двух котов своих —
Люсю и Маркуса — тихих спутников,
И песенку французскую из детства,
И Сенчиной Людмилы голос, звенящий:
«О, боже, это же метафора о Золушке...»

Как же интересно встретить человека из далёкого про-

шлого. Перед тобой уже не та задира-девчонка с глазами, будто горящие угольки, с курчавыми непокорными волосами, дерзкая и строптивая. Это женщина. У неё две дочери, и у неё есть история.

И это — повесть о ней и не о ней вовсе. О том, как тает туман, обнажая лишь чистый, нетронутый свет. В ней проступят для читателя лёгкие, как дыхание, отголоски её судьбы. Но все истории — не о ней. Они — для неё.

За дверью плотно запертой, за шторами тяжёлыми
Соткался мир из нежности, из кружев и тепла,
Где мысли первозданные, прозрачные и голые,
Купаются в сиянии под куполом стекла.
Там вечер разливается в изгибах мягких сумерек,
И спят коты дымчатые, как стражи вечных снов,
Пока в камине греются обрывки старых нумерологов
И плавится под пальцами безмолвие основ.

Она хранила ревностно свой сад благоухающий,
Где вздохи орхидейные — как вечности печать,
Где аромат гортензии, в тиши изнемогающий,
Он учит её истине — умению молчать.
Там сердце, словно океан, глубокий и пугающий,
Скрывает жемчуг бережно от взоров и ухмылок,
А свет её немеркнущий, живой и всепрощающий,
Струится тонкой струйкой на серебряный платок.

В движении спиц ритмическом, в неспешном созидании
Рождаются для дочерей пушистые миры,
Где нет колючей грубости — лишь мудрость в ожидании,
И добрых сказок складками укрыты все миры.
На кухне тайно пахнут травы, делятся секретами,
Вплетая в будни запахи далёких южных стран,
Но часто за полночными, неясными ответами
Приходит тихий сумрак, как невидимый изъян.

В часы, когда безлюдие становится пронзительным,
Она грустит о канувшем в небесную купель,
И кажется сомнительным, и кажется мучительным
Всё то, что не исполнилось под ветра колыбель.
Но сквозь печаль хрустальную, сквозь тени мимолётные
Она сияет ласково, как ранняя заря,
И вновь плетутся бережно — надёжные, добротные —
Защитные созвездия её календаря.

Я не нарушу таинства, я не коснусь движения
Того эфира тонкого, что льётся из души.
Пусть розы остаются в зоне вечного служения,
Храня её сокровища в божественной глуши.
Пусть спицы мерно щёлкают, покой оберегаемый
Не ведает прикосновений холодных, грубых рук.
Она — алтарь и магия, она — недостижимая,

Цвета́ми околдованный, благословенный круг.

Неожиданная встреча

Каждый человек — отдельная, замкнутая в себе планета. И как же обманчива порой его атмосфера, та зыбкая, переливчатая оболочка, что рисует иллюзию безупречного порядка и безмятежного счастья. А что скрыто в глубинных недрах — целые вселенные памяти, мерцающие звёзды тихого света и незаживающие разломы тектонических душ, — ведает лишь сама планета. Личные истории, словно судьбы целых стран, вращаются по своим орбитам и вдруг пересекаются в самых непредсказуемых точках пространства-времени. Одна из таких точек — шумный, безликий и до рези в глазах знакомый терминал международного аэропорта.

Она застыла в очереди к паспортному контролю, но мысли уже неслись сквозь время и пространство — к завтрашним переговорам в Стамбуле. Деловой кейс, безупречный костюм, взгляд, прикованный к холодному экрану телефона, — всё в ней кричало о выверенной собранности, железном расписании, тотальном контроле. Ей было тридцать девять, и каждое из этих лет она несла с достоинством, словно идеально скроенное пальто от дорогого портного — ни одной лишней складки, ни тени небрежности. Рядом, в соседней змейке очереди, билась в лихорадочной суете другая женщина. Она нервно рылась в переполненной сумке, словно искала там не

забытый билет, а саму дверь в собственную жизнь. На вид — лет сорока пяти, с открытым, незащищённым перед миром лицом, на котором неподдельное волнение плескалось, как морская волна в штиль перед бурей. Их взгляды встретились на мгновение — мимолётно, вежливо, как и положено двум незнакомкам в безликой толпе. Но в этом коротком касании глаз промелькнуло что-то неуловимое — эхо двух разных судеб, столь непохожих, но застывших сейчас в одной и той же секунде ожидания.

И тогда что-то дрогнуло. Не в памяти даже, а глубже — на уровне подсознания, в подкожной дрожи узнавания, в том безмолвном колодце, где время теряет счёт. Та, что постарше, окаменела, впилась взглядом в младшую. Та, в свою очередь, медленно оторвала глаза от телефона, словно почувствовав на себе прикосновение этого пристального, почти невежливого взгляда. Тишина — густая, внезапная, вязкая, как мёд, — на миг поглотила гул терминала, разорвав привычную ткань бытия.

— Простите, — произнесла старшая, и в её голосе прозвучала не извиняющаяся нота, а вопрошающая, изумлённая, почти священная тревога. — Мы... мы с вами... Это же немыслимо. Наташа? Соседняя улица, что бежала параллельно их дому, дарила Лизе необыкновенное, почти тайное зрелище: каждый день мимо, словно весенний ручей,

проносила озорная умница Наташка. Её отец преподавал русский язык и литературу в расположенной неподалёку таджикской школе. И вот эта самая девчонка, встречая папу после занятий, каждый вечер неспешно проходила мимо Лизиного дома рука об руку с ним; их тихие разговоры и смех, словно драгоценный бисер, растворялись в предзакатном воздухе, оставляя в сердце Лизы сладкую занозу воспоминаний.

Молодая женщина вздрогнула — будто невидимый ток скользнул по позвонкам, лёгкий, но обжигающе внезапный. Детское прозвище, закрепившееся за ней в школьных коридорах и на раскалённых летних улицах, отозвалось теперь как звуковой код из иного измерения, из давно канувшей галактики детства.

— Лиза? — выдохнула она, и имя само слетело с губ, вынырнув из той крошечной темноты памяти, где всё ещё живут запах мокрого асфальта после июльского ливня и скрип качелей, режущий предзакатную тишину. — Бэтти?

Они вышли из очередей, отступив к холодной стене, заклеенной глянцевыми постерами. Две планеты, чьи орбиты развели время и пространство, вдруг сошлись в одной точке — с катастрофической, почти ранящей нежностью.

— Боже правый, — выдохнула Лиза, та самая, что когда-то была недостижимой десятиклассницей, высокомерной и прекрасной, словно богиня из параллельного мира для восторженной четвероклашки Наташи. — Я не поверила своим глазам. У тебя... папины глаза. Совсем. А я из Мюнхена лечу, в Стамбул, на конференцию.

— А я из Москвы, тоже по делам, — отозвалась Натали, и вдруг почувствовала, как с неё осыпается вся взрослая, нажитая годами скорлупа, обнажая ту самую девочку, что когда-то с замиранием сердца, с благоговейным ужасом смотрела на старшеклассницу с алой помадой и кассетным плеером на поясе. — Ты... совсем не изменилась. Я узнала тебя сразу — как только увидела этот профиль, этот наклон головы.

Они говорили торопливо, захлёбываясь словами, перебивая друг друга и тыкая пальцами в воздух, словно вышивали на его незримой канве карту общего прошлого: фруктовые сады Средней Азии, арыки, чинары, лютый дворник дядя Алишер, таинственная голубятня на крыше гаража — та, что потом исчезла под отбойным молотком. Пять-шесть лет разницы — во взрослой жизни сущая безделица, а тогда, в школьные годы, это была целая эпоха, непроницаемая стена меж мирами. Лиза не замечала Наташу; Наташа же видела в Лизавете воплощение всей грядущей взрослости — маня-

щей и пугающей.

— А помнишь, как ты меня отчитала, когда я на твоём велике покаталась без спросу? — вдруг рассмеялась Натали, и смех её прозвучал молодо и звонко, будто смахнул пыль с минувших лет.

— И ты ревь! — Лиза качнула головой, и в её глазах мелькнула тень той самой снисходительной старшеклассницы. — А я потом всю ночь переживала, что слишком жёстко. Но надо же было авторитет держать.

Заговорили о главном — о том, что стало с теми улицами, с теми людьми. Оказалось, оба их родных дома давно стёрты с лица земли, на их месте взметнулись стеклянные бизнес-центры, равнодушные к памяти. Общих знакомых почти не осталось — жизнь разметала всех по свету, как сухие листья. Но в этом сбивчивом диалоге у холодной стены оживал не просто двор: воскресала целая страна — та, прежняя, их общая, что теперь жила только в них, в этих случайно столкнувшихся «планетах». Под внешней оболочкой деловой женщины из Германии и уверенной москвички ещё трепетали те самые девочки, чьи миры когда-то соприкасались краешком, даже не подозревая, как крепко завяжутся эти невидимые нити на десятилетия вперёд.

Объявили посадку на рейс в Стамбул. Лиза взглянула на табло, и её лицо вновь затянулось плёнкой сосредоточенной взрослости.

— Надо бежать. Как же странно... Словно отыскала осколок самой себя, о потере которого даже не догадывалась.

Они обменялись никнеймами, пообещали написать — в глубине души сознавая немоту этих обещаний. И вдруг Лиза протянула Натали свой дневник.

— Раз уж ты призналась, что пишешь, — выдохнула она, — сочини, когда найдётся время, истории о моей семье. О бабушке. Обо мне — хотя бы вскользь, если захочешь.

— Милая Лиза, я не пишу биографий, — улыбнулась Натали, но дневник уже приняла, осторожно, словно птицу.

— Прочти. Я даю тебе карт-бланш. Просто напиши.

— Подумаю.

— Вообще-то я не люблю чужие тайны, но... попробую. Спишемся.

Слишком далёкие орбиты, слишком плотные графики. Но

в этот миг, в стерильной тиши аэропорта, каждая унесла с собою нечто бесценное — тихое свидетельство того, что их общая история не канула в Лету. Она жива. Она — во взгляде случайной попутчицы, мгновенно узнавшей тебя, прилетевшей из того далёкого, беззаботного детства, где будущее казалось бескрайним, как летнее небо над крышей гаража с голубятней.

Наталья долго смотрела вслед Елизавете. И вдруг — словно током из прошлого — нахлынуло желание, острое и почти детское: отведать старый, знакомый лимонад «Пчёлка». Зачем? Не знаю. Просто — захотелось.

В детстве всё было иначе. Мир казался шире, небеса — выше, солнце — щедрее, а лето — бесконечным, как сама вечность. И был у этого лета свой вкус. Он прятался в тяжёлой, чуть шершавой стеклянной бутылке, на которой красовалась наклейка с жёлтой полосатой пчёлкой, несущей в лапках крошечное ведёрко. Назывался этот лимонад «Пчёлка». И был он... красным.

Почему красным? Этого не знал никто. Его вкус не поддавался логике — не клубничный, не вишнёвый, не гранатовый. Он был соткан из самого летнего воздуха, смешанного с солнечным светом, утренней росой на траве и привкусом чуда. Красный цвет бутылки и жидкости внутри обещал что-

то ягодное, но обманывал сладко, загадочно, маняще. Настоящий вкус «Пчёлки» — это нечто среднее между редкими лесными ягодами, которые растут только в сказках, и карамелью, которую варят на костре. В нём чувствовалась лёгкая, почти неуловимая кислинка, щекотавшая нёбо, а следом накатывала волна невероятной, чистой сладости без капли приторности.

Помню, как в самую жару, когда асфальт плавился и воздух дрожал, мы бежали к ларьку. Тётенька в белом халате доставала бутылку из деревянного ящика, полного колотого льда. Стекло запотевало мгновенно, покрываясь каплями, которые хотелось слизывать. Металлическая крышечка с зазубренными краями поддавалась с трудом. И вот он — тот самый звук: шипящий, брызжущий, счастливый пшик! Горлышко окутывало облачко холодного тумана. Первый глоток был ритуалом. Жидкость обжигала горло ледяным взрывом вкуса. Пузырьки газа лопались на языке, щипали щёки изнутри, и казалось, что голова становится лёгкой-лёгкой, почти невесомой.

Этот лимонад нельзя было пить жадно. Его смаковали. Закрывали глаза и ждали, когда волна того самого «пчелиного» вкуса пройдёт по всему телу, оставляя после себя чувство абсолютного блаженства. В нём не было химии, только тайна. Сейчас, во взрослой жизни, полной «натуральных аромати-

заторов, идентичных натуральным», стабилизаторов и красителей с буквой «Е», этот вкус кажется сном. Производители пытались воскресить «Пчёлку», печатали похожие наклейки, разливали в похожие бутылки, но всё было не то. Вкус исчез вместе с той эпохой.

Красный цвет «Пчёлки» — это цвет заката над рекой, цвет первых вызревших помидоров с бабушкиной грядки, цвет божьей коровки, что села на руку к счастью. Это цвет, в котором смешались детский смех, голубиное воркование на площади, скрип качелей и шум дождя по крыше. Когда я думаю о нём, я чувствую запах нагретой на солнце травы и мокрого асфальта после летней грозы. Я слышу крики «Ура! Каникулы!» и треньканье мороженщика.

Тот лимонад был не просто напитком. Это был эликсир времени. Стоила «Пчёлка» копейки, но её ценность была безмерной. Она объединяла. Мы доставали бутылку из холодильника, и комната наполнялась предвкушением праздника. Мы пили её втроём, передавая бутылку по кругу, вытирая горлышко ладонью, и это не казалось негигиеничным — это было братство. Последний глоток был самым горьким и самым сладким одновременно. Горьким, потому что заканчивалось удовольствие; сладким, потому что можно было перевернуть бутылку и поймать ртом последние драгоценные капли, словно слезинки уходящего счастья.

Помню, как однажды нашла пыльную бутылку в бабушкином подвале. Пустую. Этикетка выцвела, пчёлка стала почти бесцветной, но стекло всё ещё пахло тем самым летом. Я приложила горлышко к носу, закрыла глаза. И на мгновение — всего на миг — я снова стала той девчонкой, которая верила, что чудеса живут в красных пузырьках. Потом я открыла глаза, вернулась в серую взрослую реальность, и грусть накрыла с головой.

Говорят, что рецепт был утерян. Что главный технолог завода унёс тайну в могилу. Но я не верю. Мне кажется, что «Пчёлка» просто живёт в другом измерении. Там, где время течёт иначе, где люди улыбаются проходим, где не нужно платить за счастье, где дворы полны детей, а не машин. И иногда, в особенно душный летний вечер, когда ветер стихает и на небе зажигаются первые звёзды, я слышу откуда-то издалека знакомый звук — шипящий, брызжущий, счастливый пшик. И сразу же на языке появляется тот самый, красный, пчелиный, неповторимый вкус детства. Вкус, которого больше нет в магазинах, но который навсегда остался в сердце.

Янтарным лучом в запотевшем стекле
Дрожит послевкусие детского рая,
Где мы на беспечной и светлой земле
Писали свой путь, поражений не зная.

Хотелось оваций, тепла, лимонада,
Сбивающим пену глотком дорожить,
И верилось: сердце — цветущая ограда,
В которой нам выпало просто пожить.

Но истина вскрыта, как старый дневник, —
В нём почерк чужой проступает сквозь кожу.
И тот, кто к истокам прозрачным приник,
Вдруг чувствует в сладости горькую дрожь.
За чистым фасадом, за лентой «Дюшеса и Пчёлки»,
Где небо чертил волшебник седой,
Вскипает тяжёлым предчувствием пьеса,
Грозя обернуться неожиданной бедой.

Мы морок снимаем под гул терминалов,
Пытаясь вернуть чистоту именам,
Но в детстве счастливом, в истоке каналов,
Проклятье уже подбиралось к челнам.
Там боль затаилась в тени гаражного бокса,
В обрывках событий, в зачёркнутых днях,
И совесть, как строгий и гордый детокс,
Сжигает надежду на мягкий размах.

Я выстрою крепость из букв и из шрамов,
Вплетая в сюжет эту странную связь.
Пусть мир не дожждётся нарядных романов —

Я выпишу правду, в туман устремясь.
Не ради оваций — под взглядом суровым
Того, кто диктует: «Не думай, пиши»,
Я стану твоим исцеляющим словом,
Омытым в прохладном колодце души.

Пуškai газировка искрится на солнце,
Скрывая на дне неизбежную соль.
Мы смотрим в одно золотое оконце,
Где общая радость и общая боль.
И в ритме, дающем святую свободу,
На хрупком фундаменте прошлых потерь,
Я выведу жизнь сквозь огонь и сквозь воду,
Вскрывая последнюю, главную дверь.

Дневник

Есть вещи, которые не произносят вслух. Они живут в потаённых уголках памяти и самой жизни — пульсируют тяжёлой кровью в висках, застревают горьким комом в горле, задыхаются там, где слова бессильны, как рыба, выброшенная на безжалостный берег. Бабушкины руки — они помнят всё: ледяную стужу воды, в которой она полоскала бельё до онемения пальцев, свинцовую тяжесть военных лет, что въелась в кости, трепет первой влюблённости, что обжёг сердце и не угас до последнего её вздоха, теплясь алым угольком под пеплом лет. Но тело её молчит. Оно говорит на ином языке — ломотой в суставах перед грозой, когда каждая клетка чувствует приближение ненастья, глухой, давящей тяжестью в груди, точно каменная плита ложится на рёбра, когда память поднимает из бездны то, что забыть невозможно, и воскресает боль, которую время не лечит, а только прячет глубже, в самую тьму, где ей суждено тлеть вечно.

Внучка, с её эмпатичной, чуткой душой, слышала этот немой, надрывный голос. Она видела, как бабушка гладит старую, выцветшую фотографию — и пальцы её вдруг леденеют, будто она вновь сжимает единственную восточку от самого дорогого, самого любимого человека, что прошёл с ней рука об руку сквозь всю её жизнь — но только в памяти,

а не наяву, — восточку, что живёт теперь лишь в её сердце, заменив собой все когда-либо написанные письма. Как она улыбается, но плечи её остаются сведёнными, точно под кожей всё ещё тянет невидимый мешок с картошкой в тот голодный, выжженный год. Как её сердце начинает биться чаще, когда за окном гремит салют — потому что для неё это не праздник, а эхо, долетевшее из окопов.

Эта история — не просто дневник. Это отчаянная попытка расшифровать ту глухую, безымянную боль, которую бабушкино тело впитало каждой клеткой, каждым нервом, каждой порой, — но которую её губы так и не осмелились вымолвить. Психосоматика — это не болезнь. Это остывшая память, намертво запертая в мышцах: в стиснутых до хруста челюстях, в спине, что горбится, как под тяжестью невидимого креста прожитых лет. Это её память — впаянная в плоть калёным железом, спекшаяся с кровью, ставшая её второй кожей. Это немой крик, который сердце глушило, глотало десятилетиями, — но тело, беспощадное в своей верности, так и не смогло простить и забыть.

Внучка перебирает воспоминания — яркие, как витражи, тёплые, как ладони бабушки Эмилии. Она пишет их, чтобы отпустить. Чтобы каждая буква стала шагом к освобождению. К освобождению той, что молчала всю жизнь, и той, что наконец решилась услышать.

«Ma chérie», — шепчет память голосом бабушки, и в этом слове — целая вселенная. «Mein Schatz», — вторит эхо, сплетая языки в нежный венок. La douleur уходит, уступая место die Liebe. Внучка вышивает нитями чувств каждую строчку, каждую слезу и улыбку. Je t'aime — шелестят страницы. Ich liebe dich — отзывается сердце.

Они идут навстречу друг другу сквозь годы: одна — с отпускающей молитвой, другая — с освобождающей тишиной. И где-то между русским «прощай» и французским «souvenir» рождается песня — без слов, но полная света. C'est la vie, mon amour. Das ist das Leben. Это и есть жизнь — в каждом вздохе, в каждой букве, в каждом освобождённом «я помню».

Дневник велся Елизаветой неровно, словно сама жизнь сбивала строки в беспокойный ритм: почерк её то сжимался в тревожный, острый бисер, то расплывался широко и небрежно, покорный внутренней дрожи, смутному волнению или затаённому трепету. Но вот что остановило мой взгляд, что кольнуло предчувствием — одна из страниц, без даты, точно выпавшая из времени.

Бабушка всегда говорила: память живёт не в вещах, а между ними. Не в фотографиях — они бездыханны, как за-

сушеные бабочки под стеклом. А в запахах, застывших в шершавых складках старого платья, в бархатистой шероховатости подушечки для иголок, в горьковатом вкусе на языке, который вдруг напоминает о другом небе, о другой зиме. Её комната была ковчегом ароматов: сухих трав, яблочной пастилы «нишалло» и старой, чуть сладковатой от времени бумаги. На столе, под тяжёлым стеклом, вечно покоилась её тетрадь — дневник, испещрённый на трёх языках: русском, немецком, французском. Строчки переплетались, как нотки одной души, звучащей на разные голоса — то тихий плач скрипки, то строгий орган, то звонкий смех флейты. Она открывала тетрадь раз в неделю, по воскресеньям, и никогда не прикасалась к новой странице, пока последнее слово последней фразы не обретало покой. Дисциплина. В её мире, рассыпавшемся на осколки после Вахша, это была последняя крепость, последний оплот порядка, который она могла выстроить собственными израненными руками.

Из её дневника, воскресенье:

Сегодня он вернулся — этот запах. *Geruch von nasser Erde und verbranntem Kohl* — сырой земли и горелой капусты. Лагерь. Там, где каждый день был вечером, и каждый вечер — вечностью. Und plötzlich — Pierre. Его руки, пахнущие чернилами и хлебом. Бухгалтер, не ангел. Mais pour moi — *une lumière dans cet enfer gris*. Мы не целовались тогда, толь-

ко смотрели друг на друга сквозь колючую проволоку взглядов. Er gab mir eine Scheibe Brot und ein Blatt mit Zahlen. А я храню до сих пор то тепло, ту цифру судьбы, die uns beiden zufiel. Моя единственная любовь. Ma Monique — ses yeux, son sourire silencieux, qu'il m'a laissé pour toujours.

Die Luft war kalt und schwer. Но его взгляд — wie ein kleines Feuer in der Nacht. Er sprach wenig, этот Пьер, mais son silence était plus fort que tous les cris. Ich trug seine Tochter unter dem Herzen, und das gab mir Kraft, durch den Stacheldraht zu gehen. Я люблю его до сих пор. Nicht den Mann aus Fleisch und Blut — l'ange qui est venu dans un manteau déchiré et m'a tenu la main, ohne mich zu berühren.

Mon cher Pierre. Je n'ai jamais osé t'écrire ces mots. Das Lager hat uns unsere Stimmen geraubt, mais pas nos cœurs. Ты ушёл одним дождливым утром, emportant avec toi mon dernier sourire. Но ты оставил мне Монику — notre petite France, notre secret, notre chanson inachevée. Chaque fois que je ferme les yeux, je te vois penché sur tes comptes, et ich werde reich für die Ewigkeit. Je t'aime. Ich habe dich immer geliebt. Und ich werde dich lieben, wenn dieses Heft zu Staub wird.

«Сегодня опять этот запах — сырой земли и горелой капусты. Лагерь. Там, где каждый день был вечером, и каждый вечер — вечностью. И вдруг — Пьер. Его руки, пахнущие

чернилами и хлебом. Бухгалтер, а не ангел. Но для меня — свет в том сером аду. Мы не целовались тогда, только смотрели друг на друга сквозь колючую проволоку взглядов. Он дал мне ломоть хлеба и листок с цифрами. А я храню до сих пор то тепло, ту цифру судьбы, которая выпала нам двоим. Моя единственная любовь. Моя Моника — его глаза, его тихая улыбка, которую он оставил мне навсегда».

Она закрывала тетрадь. В комнату входили сумерки, и где-то в глубине старого дома, за стеной, тихо плакал граммофон. А в её груди всё ещё цвёл тот единственный, навсегда зелёный, как весенняя трава Вахша, сад памяти.

Плавно, из одного воспоминания в другое — из тетради, оставленной Эмилией, я перехожу на страницы дневника той, кто вдохновил меня на эти строки. Имя ей — Елизавета.

Бабушка Эмилия учила меня вышивать гладью и вязать. Мои пальцы путались в нитях, а её движения, отточенные и плавные, казались священнодействием, безмолвной медитацией. Игла входила в натянутую ткань с тихим, шуршащим вздохом — «пфф». Мы молчали. За окном шумели чинары, и этот шум был таким же неотъемлемым фоном нашего безмолвия, как мерное тиканье ходиков на стене. Я думала о мальчиках из нашей школы, о новой кассете с «Ласковым маем», которую отчаянно хотела купить, — о будущем,

что манило и пугало одновременно. Она, наверное, думала о прошлом. О том саде, которого больше не было. Мы сидели рядом, разделённые полувеком, но в тот час наши одиночества каким-то чудом совпадали — становились не пустотой, а тишиной. Плотной, наполненной, живой. Такой, в которой можно было услышать биение двух сердец.

Однажды, уже накануне отъезда в Германию, я застала её плачущей. Нет, она не рыдала — просто сидела в кресле, и по щекам её беззвучно струились две тонкие, серебряные дорожки. В руках она сжимала свою тетрадь-дневник.

Таджикистан конца восьмидесятых. Душанбе, июль — духота липла к телу, будто вторая кожа, плотная, влажная, неуклюжая, не дающая вздохнуть. Где-то в городе, по слухам, уже начались погромы, хотя наш двор молчал, затаив дыхание. Но эта тишина была страшнее крика — она давила, как предгрозовое небо, что вот-вот рухнет свинцом. По вечерам соседи собирались у подъездов, перешептывались: «Уезжаете? А мы?», «Билеты только до Москвы, дальше — сами», «In Deutschland versprechen sie Wohnungen, Arbeit. Die Sprache ist fremd, natürlich, aber man kann sie lernen». Немцы из Союза выезжали потоком — целыми семьями, с чемоданами, перевязанными веревками, с детьми на руках и стариками, которые не говорили по-немецки, но еще помнили бабушкины молитвы на диалекте, где каждое слово пахло дет-

ством: «Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name...»
Казалось, весь Таджикистан, весь Узбекистан, весь Казахстан пришёл в движение, словно земля под ногами дрогнула. Кто-то продавал дома за бесценок, кто-то бросал всё — мебель, посуду, фотографии, оставляя прошлое пылиться в пустых комнатах. В воздухе висела смесь запаха пыли, переспелых абрикосов и липкой тревоги, что оседала на губах горечью. Вокзал был забит людьми с желтыми чемоданами; женщины плакали, мужчины курили, глядя в никуда, в пустоту, где будущее уже не имело очертаний.

А здесь, в этой комнате, бабушка сидела с дневником. За окном — старая чинара, под ней — скамейка, на которой мы еще неделю назад пили чай и спорили о будущем, смеясь и не веря, что оно может кончиться. А теперь будущее — это билет в один конец, без обратной дороги. Германия манила и пугала одновременно: там ждали дома из красного кирпича, аккуратные газоны, знакомый язык и равнодушие — холодное, как чужой взгляд. «Willkommen in der neuen Heimat», — шептал кто-то внутри, но сердце не верило. Здесь оставалось всё — запах лепешек из пекарни на углу, крики торгашей на базаре, горы на горизонте, которые к вечеру становились лиловыми, будто растворялись в небе. И этот дневник. В нем — моя жизнь, вся целиком, от первой строчки до последнего вздоха. Я не хотела его брать. Не хотела везти через границы, через таможни, где перетряхивают чемо-

даны, где могут отобрать, порвать, забыть. Но и оставить — не могла. Denn wenn du es zurücklässt, gibst du zu, dass dieses Leben nie existiert hat. А я была. Июль 1989-го. Ветер гонял пыль по двору, где мальчишки играли в футбол, не зная, что через месяц здесь будет пусто, только эхо их криков застрянет в стенах. Где-то вдалеке тарахтел мотоцикл. Из открытого окна соседнего дома доносилась песня — кассетник играл «Мираж», голос плыл в душном воздухе, как последнее воспоминание. Alles wie immer. И только я сидела с мокрым лицом, и я вдруг поняла: мы уезжаем не в новую жизнь. Wir fahren nicht in ein neues Leben — wir fahren aus dem alten heraus. А я всё ещё здесь — в каждой трещине на асфальте, в каждом листе чинары, в этом дневнике, который я так и не решилась раскрыть при тебе. Aber ich sah: die Seiten waren bis zum Rand beschrieben. Крупным, круглым почерком. И кое-где — размытые чернила. Von Tränen.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.